
Асмодей Денница
Штрафники неба

Асмодей Денница

ШТРАФНИКИ НЕБА

«Автор»
2026

Денница А.

ШТРАФНИКИ НЕБА / А. Денница — «Автор», 2026

Шестой год Армагеддона. Плато Сухой Дождь, четыре барака из чёрного базальта, двести шестьдесят человек, которых не взяли ни в часть, ни в лазарет, ни в тюрьму.Среди них Абалим. Три года назад его взяли на переправе, и с тех пор у него на левом предплечье врос в кожу серебристый венец с номером «тринадцать — ноль один». Номер не сходится ни с одной книгой. Это первая ложь, на которой держится всё остальное.Здесь служат ангелы и люди. Крылья у ангелов не обрезают — их складывают за спину, как парашют, закрывают просмолённой парусиной, стягивают ремнями и запечатывают свинцовой пломбой. Их не изгнали: они выбрали искупление. Рота особого назначения — так это записано в бумагах. «Штрафники неба» — так об этом говорят вслух.Абалим умеет одно: считать. Людей в строю, строки в книге имён, шаги до позиции. Счёт — единственное, что держит порядок, а порядок держит человека. И потому первое, что он понимает о своей войне, звучит страшнее любого приказа: его рота — не люди, а строки...

© Денница А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Скованные крылья 6
Глава первая. Переправа 13
Глава вторая. Печать и номер 28
Глава третья. Пыль Мегиддо 35
Конец ознакомительного фрагмента. 36

ШТРАФНИКИ НЕБА

Штрафная рота. Армагеддон.

Пролог. Скованные крылья

«И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон.»
Откровение, глава шестнадцатая

Плато называлось Сухой Дождь, и в этом названии не было ни вымысла, ни чьей-то злой шутки: оно осталось от прежних карт — тех, что печатали до войны, на плотной бумаге, с коричневой штриховкой рельефа и аккуратными синими ниточками рек. Рек на плато не было семнадцать лет, синие ниточки давно стали ложью, но карты ещё висели кое у кого в штабах, и по ним иногда считали расстояния, потому что других не было. Дождь, впрочем, приходил. Облака поднимались от мёртвого моря — тяжёлые, сизые, с той стороны, где за перевалом лежала вода, в которой ничего не живёт, — и через полчаса над котловиной начинало стучать по железным крышам, будто кто-то бросал в них горстями гальки. Он шёл долго, ровно, без грома, уходил в трещины базальта, и в трещинах после него оставалась серая крупа, похожая на толчёное стекло: соль, пыль и то, что приносил с собой ветер.

Ветер был здесь главной силой, и к нему привыкали так же, как к отсутствию солнца. Он шёл с востока, ровно, без порывов, и в нём всегда было железо — не запах даже, а привкус, будто лизнул батарейку. Люди, прожившие на плато год, переставали его замечать; люди, прожившие три, узнавали по нему погоду, время суток и то, что будет к вечеру, — как узнают по шагам в коридоре, кто идёт. Абалим прожил здесь три года и по ветру знал не только погоду, но и то, чего ждать от дня: если ветер суше обычного — быть бумаге, если отдаёт гарью — быть проверке, а если стихает совсем и воздух становится плотным, как перед грозой, — значит, где-то далеко, за краем плато, снова считают.

Слово это здесь произносили редко и всегда без нажима, потому что нажим в нём был страшнее любого содержания. «Считают» означало не арифметику. Считали людей, считали потери, считали дни до срока — и всякий раз, когда к плато подходил этот ровный, безветренный час, в бараках начинали говорить тише, а спать ложились раньше.

Шёл шестой год войны, которую в сводках называли Армагеддоном, и все уже понимали, что скоро будет последняя ставка. Об этом не говорили вслух — за такие разговоры не расстреливали, но записывали, — однако по тому, как сокращали сроки, как торопливо переписывали списки и как часто стали приезжать люди из ведомства, было ясно: наверху тоже готовятся. Финальная битва была не слухом и не пророчеством; она была в накладных — в том, сколько подвезли тола, сколько заготовили бинтов и сколько досок заказали для гробов.

Лагерь стоял в котловине, вырубленной в камне ещё до войны: четыре длинных барака из чёрного базальта, крыши из листового железа, окна, затянутые промасленной бумагой. Бумага была старая, во многих местах прорванная, и через прорехи в барак входил свет — не солнечный, потому что солнца над плато почти не бывало, а тот ровный белесый безтеневой свет, которым здесь заменялось всё остальное. В таком свете у людей не было лиц, только черты, и труднее всего было понять, кто перед тобой — свой, чужой или то, что стоит между ними и не принадлежит никому.

В третьем бараке жили штрафные. Их было двести шестьдесят, и в роту собирали не худших, а тех, кому не было места ни в части, ни в лазарете, ни в тюрьме: сюда попадали за такое, за что из Сил Света изгоняют навсегда, — но изгнаны они не были. Они выбрали искупление. Были ангелы — их было больше половины, — и у каждого за спиной, стянутые ремнями, лежали сложенные крылья. Были люди: те, кто сделал то, за что человека вычёркивают из всех списков, и кто вместо этого пришёл в строй. Были вернувшиеся: те, кто вышел из-за черты и вернулся с пульсом, с теплом и без себя, с памятью обо всём, кроме того, зачем он вернулся. Были падшие, у которых не осталось ни приказа, ни места, ни строя и которые поэтому шли за

любым, кто говорил уверенно. И были те, кто попал сюда по ошибке или по доносу, и их было меньше всех, потому что ошибки в этих списках случались редко.

Крылья у ангелов не обрезали. Их складывали за спину, как складывают парашют, — туго, слой к слою, — и закрывали чехлом из просмолённой парусины, а чехол стягивали двумя ремнями и запечатывали свинцовой пломбой с номером. В чехле крылья жили: в сырую погоду парусина набухала и от неё шёл тёплый кисловатый запах, будто под ней дышали; в сухую — из-под ремней доносился тихий треск, будто перекладывали сухие листы. Раз в месяц приходил человек из ведомства, снимал пломбу и велел развернуть, и крылья выходили из чехла тяжело, как выходит из воды намокший брезент, и в бараке сразу становилось тесно, будто принесли ещё одного человека. Потом их складывали снова, человек ставил новую пломбу, и номер на пломбе всегда совпадал с номером в венце. Сложенные крылья были не наказанием, а описью: их берегли, считали и держали закрытыми, потому что ангел с раскрытыми крыльями — это уже не штрафной, а тот, кем он был до приговора.

Крылья были не у всех: у людей их не было вовсе, и по спине сразу было видно, кто стоит перед тобой. В сводках это называли «признак принадлежности к звену», и на плато об этом не говорили, потому что говорить о них значило думать о них, а думать значило считать себя тем, кем тебя не считали.

И у каждого на левом предплечье, у самой кости, было вожжено кольцо — венец. Тонкий ободок серебристого металла, вросший в тело так плотно, что кожа вокруг натянулась и лоснилась, а в сырые ночи вокруг него появлялся красный ободок, как у ожога, который никогда не заживает до конца. Венец не снимался: его надевали раскалённым, и он входил в мясо, как входит в дерево гвоздь, и оставался там навсегда, и через него штрафной был привязан к своей роте, к своему номеру, к своему приговору. Номер выжигали на внутренней стороне венца, и номер этот заменял человеку имя — не потому, что имени не было, а потому, что имя, произнесённое вслух, здесь стоило дороже, чем жизнь.

Абалим лежал на нижних нарах у стены и не спал. Он лежал на спине, заложив руки за голову, и смотрел в потолок, где между листами железа была щель, и в эту щель была видна полоска неба — серая, ровная, без единой звезды. Ему было тридцать четыре; он был высок, сух, с длинным лицом и тяжёлыми руками, и в его лице было то, что появляется у людей, которые давно перестали ждать хорошего и научились этого не показывать. На левом предплечье у него было кольцо с номером тринадцать — ноль один; на спине — сложенные крылья под чехлом, стянутым двумя ремнями, и свинцовая пломба у левой лопатки. Он был здесь третий год и за три года ни разу не спросил, за что.

Три года назад его взяли в Пыльном котле, на переправе, вместе с сорока другими, и он до сих пор помнил, как их вели по мосту, как под мостом стояла вода и как один из конвоиров, молодой, с прыщом на щеке, сказал другому: «Этих на небо пустят, ага». Тогда это показалось ему шуткой. Потом он узнал, что это была не шутка, а именно то, что и было сказано, — но узнавать пришлось долго и по частям, и каждая часть стоила кому-нибудь жизни. Из сорока, что шли тогда по мосту, до лагеря дошли одиннадцать; из одиннадцати к третьему году осталось четверо, и Абалим не знал, куда делись остальные, потому что о тех, кто пропадал здесь, не говорили «погиб», а говорили «списан», и это слово было страшнее.

Рядом, через проход, лежал Малх. Малху было девятнадцать; он был тонок, светловолос, с длинной шеей и лицом, которое в другой жизни назвали бы красивым, — и он был немым. Не от рождения: голос у него отняли в первый же день, по приговору, и с тех пор он не произносил ни звука — ни стона, ни крика, ни шёпота. Он научился объясняться руками, глазами, наклоном головы; научился смеяться беззвучно, беззвучно же и плакать, и это было хуже всего — смотреть, как человек плачет, и не слышать ничего. Он лежал на боку, подтянув колени к груди, и его открытые глаза блестели в темноте, как две мокрые гальки.

— Спи, — сказал Абалим тихо, и Малх шевельнул пальцами: короткий отработанный знак — «не могу». — Считай, — сказал Абалим. — До тысячи. Потом снова.

Малх закрыл глаза, и они считали оба, каждый про себя, потому что это было единственное, что помогало: счёт держал в голове порядок, а порядок держал человека. Абалим научился этому в первый год и с тех пор считал всегда — шаги, доски, вдохи, людей в строю. Двести шестьдесят душ, сорок восемь верхних нар, двенадцать окон, смена караула через каждые три часа; всё это он знал наизусть, потому что все эти числа были единственным, что у него осталось, и потому что число, произнесённое про себя, не успевало сгнить.

Караул сменился в два. Абалим услышал это по звуку: как заскрипела дверь сторожки, как один человек сказал другому «холодно», как второй ответил «на тебе, а мне ещё стоять», и как хлопнул ворот. Он знал по именам всех, кто стоял в карауле, хотя ни с кем из них не разговаривал, и знал, что в третью смену всегда ставят того, кто засыпает на посту, потому что ему не доверяют ничего, кроме собственного страха. Он не спал не потому, что не мог, а потому, что ждал; ждать он начал неделю назад, в среду, когда к ним в барак пришёл писарь.

Писарь был сухонький, в очках, с планшеткой, на которой была прикреплена бумага со столбцами, и ходил он вдоль нар, сверяя номера на венцах с номерами в столбцах, — медленно, как делают люди, которым платят за аккуратность, а не за скорость. На Абалиме он задержался, и карандаш его остановился над столбцом.

— Тринадцать — ноль один? — спросил он, и в голосе его не было ничего, кроме служебной ровности.

— Так точно.

Писарь посмотрел в планшетку, потом на венец, потом опять в планшетку, и в лице у него что-то сдвинулось — не испуг, а то замешательство, которое бывает у человека, обнаружившего, что мир устроен не совсем так, как написано в инструкции.

— Странно, — сказал он наконец, и сказал это не Абалиму, а себе.

— Что странно?

— Ничего. — Писарь перевернул лист и провёл карандашом по столбцу сверху вниз, и карандаш шёл ровно, без единой остановки, пока не дошёл до конца. — Ничего. Ошибка в разноске. Бывает.

Он ушёл, и его шаги ещё долго слышались в проходе между нарами, и Абалим лежал и смотрел в потолок, и в нём не было ни тревоги, ни любопытства, а было то ровное, тяжёлое ожидание, с каким человек слушает, как в соседней комнате переставляют мебель.

Через два дня он узнал, в чём была ошибка: в столбце против номера тринадцать — ноль один не стояло ничего. Ни пометки, ни срока, ни даты списания — пустая строка, ровная, как выбеленное место на старой стене.

Об этом ему сказал Шиш. Шиш был игва — из тех, кого приставляют к людям, чтобы слушать, и он делал это так давно, что уже не мог иначе: он слушал даже тогда, когда его никто не просил, и запоминал даже то, что ему не говорили. У него было узкое лицо, быстрые глаза и привычка держать руки на виду, будто он всё время помнил, что их могут связать.

— Пустая строка — это не ошибка, — сказал он, когда они стояли у стены на перекур, и сказал тихо, глядя не на Абалима, а на проволоку. — Ошибку за два дня нашли бы. Пустую строку оставляют нарочно.

— Зачем?

— Затем, что того, у кого пустая строка, нельзя списать по бумаге. — Шиш сплюнул и растёр плевок носком. — Его можно только вычеркнуть. А вычеркнуть — это уже не бумага. Это решение.

Абалим посмотрел на него и не стал спрашивать, откуда он это знает, потому что у игвы на такой вопрос всегда один ответ, и ответ этот — чужая жизнь.

***

Ужин выдавали в пять, и это был единственный час, когда двести шестьдесят человек видели друг друга целиком, а не по частям: в очереди, в свете двух ламп, под низким потолком столовой, где пахло варёной крупой, кислой капустой и мокрой шинелью. Кормили дважды в день, и оба раза одинаково: похлёбка из крупы с чем-то жирным, хлеб весом в восемьсот граммов на десять человек и чай, который заваривали так, что он был похож на ржавую воду. Никто не жаловался. Жаловаться было некому, а недовольство здесь считали так же, как чехлы: по описи.

Абалим стоял в очереди и смотрел на спины. Это было его привычкой — смотреть на спины, потому что спина говорит больше, чем лицо: лицо человек ещё может держать, а спину держать не умеет. По спинам он видел, кто сколько протянет: у кого плечи подняты и сведены — тот скоро сломается; у кого лопатки ходят ровно, как поршни, — тот будет жить; а у кого между лопатками залегло что-то вроде вмятины, будто там вынули кость и не поставили обратно, — тот уже не здесь, тот только ходит.

Малх стоял впереди и держал две миски, и когда очередь двигалась, он двигался вместе с ней, и его длинная шея была видна над чужими головами, как стебель. Кто-то толкнул его локтем, и он не обернулся, только чуть подвинулся, и Абалим увидел, как он сделал это — без обиды, без страха, аккуратно, как переставляют вещь, которую могут разбить.

Нина стояла у раздачи. Ей было девять лет, и она была немая, и никто не знал, откуда она взялась в лагере, потому что детей сюда не привозили. Она разливала чай из большого бака и делала это так, будто всю жизнь только этим и занималась: черпак, стук о край, ровная струя, следующий. На ней была чужая шинель, подрезанная у подола и подпоясанная верёвкой, и в кармане у неё лежал уголёк — маленький, обёрнутый в тряпку, чтобы не пачкал.

Абалим знал про уголёк, потому что видел однажды, как она рисовала: на стене столовой, низко, у самого пола, где не сразу заметишь, — палочки, шесть штук, и над ними круг с точкой внутри. Он тогда не понял, что это, и не спросил. Через четыре дня палочек стало пять, а круг с точкой остался, и Абалим понял, что одна из палочек — та, что стояла крайней, — была Пешим, и что Пешего в тот день отправили на работы за проволоку и он не вернулся.

Рисунки Нины никто не трогал. Их не стирали, не закрашивали и не мыли, хотя стены в столовой мыли каждую неделю, — и Абалим только на третьем году догадался, что их не трогают не из жалости, а из осторожности: в лагере, где всё было посчитано, никто не хотел оказаться тем, кто стёр счёт.

— Первый. — Шиш подошёл сзади, и его голос был тише обычного. — Тебя хочет видеть Асена.

Асена жила в дальнем конце барака, за печкой, и у неё была своя привилегия, о которой никто не спорил: она писала. Не для начальства — для роты. Она вела книгу, в которую вписывали имена тех, кого привозили, и тех, кого списывали, и тех, кого хоронили, и тех, кого не хоронили вовсе; книга была толстая, в коленкоровом переплёте, и переплёт этот она чинила сама, аккуратно, нитками и клеем из костного варева.

Абалим пришёл, и она подняла на него глаза, и в этих глазах было то, чего он не любил больше всего: жалость, но не к нему, а ко всем сразу, ровная, как свет.

— Скажи мне своё имя, — сказала она.

— Ты знаешь.

— Я знаю номер. — Она положила ладонь на книгу. — Здесь, в книге, у тебя нет имени. Я записала тебя как «первый», потому что так тебя зовут, но это не имя. Имя — это то, что останется, когда тебя не будет. А «первый» останется только до следующего первого.

Абалим молчал. Он стоял и смотрел, как она переворачивает страницы, и в книге были столбцы, и в столбцах — имена, написанные разными руками: аккуратными, косыми, крупными, бисерными. Одни были зачёркнуты. Другие обведены. Третьи стояли между строк, будто их вписали потом, наспех, чужой рукой.

— Абалим, — сказал он.

Она записала, и перо шло медленно, и он смотрел, как на бумаге появляется его имя, и в нём поднималось странное, нехорошее чувство, будто его сейчас взвешивают.

— Теперь ты в книге, — сказала Асена. — Это не спасение. Но это уже не пустая строка.

Он вышел от неё и остановился в проходе, и в проходе было темно, и в темноте кто-то стоял, прислонившись к нарам, и дышал ровно и тяжело, как дышат во сне. Абалим прошёл мимо, и человек не пошевелился, и только когда Абалим был уже у двери, он услышал за спиной тихий, вязкий звук — будто в темноте кто-то медленно пережёвывает что-то сухое.

За проволокой стояли они.

Их было двадцать четыре тысячи, и это число Абалим знал точно, потому что его называли в сводках, а сводки он запоминал так же, как номера: без усилия, навсегда. Они стояли ровными рядами на выжженном плато, в серых шинелях, с серыми лицами, и не двигались, и не разговаривали, и не спали — по крайней мере, никто ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из них спал.

Их называли серыми. Слово было короткое и точное: в них не было цвета, как не бывает цвета у вещи, которую слишком долго держали на свету. Их считали, но они не считались: в списках против них ничего не стояло, потому что против них нечего было ставить. Они не были ни пленными, ни своими, ни чужими. Они просто стояли — и от этого ровного стояния у людей, глядевших на них через проволоку, начинало тянуть в затылке, как тянет перед грозой.

— Сколько их? — спросил однажды Малх, и Абалим, уже привыкший к беззвучной речи, ответил вслух:

— Двадцать четыре тысячи.

Малх показал: а нас.

— Двести шестьдесят.

Малх подумал и показал ещё: а зачем.

Абалим не ответил. Он смотрел на ровные ряды и думал о том, что эти двадцать четыре тысячи стоят здесь не в наряде и не в ожидании, а в очереди, и что очередь эта стоит не за хлебом, а за счётом.

Ночью, когда ветер стихал, из-за плато приходил звук. Он был слабый и ровный, как шорох, и если долго слушать, в нём начинали различаться отдельные части: будто кто-то очень далеко пересчитывает что-то мелкое и сухое, перекладывая с места на место. Никто не знал, что это. Одни говорили — вода в мёртвом море; другие — ветер в трещинах; третьи молчали и спали лицом к стене. Но однажды ночью Абалим услышал, как этот звук на секунду сбился — и в наступившей тишине кто-то за проволокой сказал одно слово. Он не разобрал какое. Он разобрал только, что сказано было его голосом.

***

За пять суток до срока Абалим собрал своих. Их было шестеро: Малх, Шиш, Пеший, Носитель, Варвара и Костя — да, Костя, живой, с лицом, стоявший у стены, и никто, кроме Абалима, этому не удивился.

— У нас пять суток, — сказал Абалим.

— До чего? — спросил Пеший, и в голосе его была не насмешка, а настоящая неосведомлённость.

— Ты не знаешь?

— Не знаю.

Абалим обвёл их глазами и увидел, что не знает никто — или знает и не считает нужным помнить.

— Семнадцатого октября нас выведут на плато и спишут.

Пеший пожал плечами.

— Ну и что?

— Как «ну и что»?

— А что? Списывают всех. Мы это знали.

— Знали?

— Знали, — сказал Шиш. — С первого дня.

Абалим сел на нары и посмотрел на них, на шестерых, и понял, что они не боятся, и это было страшнее всего, что он слышал за три года.

— Вы понимаете, что вас не будет?

— Понимаем, — сказал Шиш.

— И?

— И ничего. Так у всех.

Абалим встал, подошёл к окну и посмотрел на плато, где за серой мглой стоял строй.

— А если я скажу, что можно иначе?

Тишина, и в этой тишине было слышно, как Варвара перекладывает бумаги — привычно, машинально, как человек, который в любом разговоре держит руки при деле.

— Как? — спросил Пеший.

Абалим повернулся.

— Сломать счёт.

Он показал на окно.

— Их двадцать четыре тысячи. Они стоят и ждут. И они не считаются, потому что у них нет имён. А мы считаемся, и нас двести шестьдесят. Если мы назовём их, их станет двадцать четыре тысячи двести шестьдесят. А если назовут нас — нас не станет.

Шиш смотрел на него.

— Ты хочешь их…

— Я хочу их назвать.

— Это невозможно, — сказал Пеший. — Это двадцать четыре тысячи.

— Я знаю. Поэтому мы начнём с одного.

Только когда все вышли, Абалим заметил, что у двери на полу лежит обрывок бумаги. Он поднял его. Уголь был мягкий, и линии были проведены быстро, но твёрдо: шесть маленьких палочек — они, шестеро, — и перед ними одна, отдельная, и от неё к палочкам шли нитки. А над всем этим стояло одно слово, написанное крупно, косо, как пишут дети: «свет».

Он обернулся. В проёме двери стояла Нина, босая, в чужой шинели, и смотрела не на него, а на бумагу у него в руках.

— Это будет сегодня? — спросил он.

Она кивнула один раз.

Они вышли в ночь, шестеро, и Абалим повёл их туда, где кончались последние следы людей на камне.

— Вот, — сказал он. — Первый.

Перед ними стоял человек с открытыми глазами, и лицо у него было обыкновенное, каких тысячи: ни злого, ни доброго, ни запоминающегося.

— Меня звали Абалим, — сказал Абалим. — Теперь меня зовут Первым. А тебя как?

Человек молчал, и молчание его было не пустым, а полным, как молчание человека, который слышит вопрос, но не знает, что на него отвечают. Затем он открыл рот, и изо рта у него посыпалась серая крупа — та самая, что оставалась в трещинах после дождя, — и вместе с крупой вышел звук, короткий и сухой, будто ссыпали песок.

Абалим не отступил. Он положил ладонь ему на плечо, и плечо было тёплое, живое, с той мягкостью, которая бывает под шинелью у человека, долго стоящего на ветру.

— Тогда я дам тебе место, — сказал он. — Ты стоишь на плато. Там сухо. Ветер с железом. И там ты не один.

И он сделал шаг.

Один шаг из строя. Все шестеро отступили, и Пеший отступил дальше всех.

Человек стоял — уже не в ряду, а перед ним, — и у него было лицо, и лицо это было не такое, как минуту назад: в нём появилось что-то, чего не бывает у вещей.

— Как тебя зовут? — спросил Абалим.

Человек посмотрел на него.

— Не помню, — сказал он. — Но я помню, что стоял.

Абалим кивнул.

— Это уже немало.

Они повернулись, чтобы идти обратно, и тогда Абалим увидел, что весь строй сделал шаг. Не один человек, не ряд — весь строй, двадцать четыре тысячи, разом, как одна челюсть, и от этого шага по плато прошёл короткий, глухой звук.

А за спиной у них зажёгся свет.

Он был не белый и не жёлтый, а серый, ровный, без источника, и он шёл не от прожектора и не от вышки, а из самой земли, из-под ног, и в этом свете было видно, что у первого названного нет тени.

— Абалим, — сказал Шиш очень тихо, и голос у него не дрожал, а был хуже дрожи. — Посчитай нас.

Абалим посчитал. Их было шесть — он, Малх, Шиш, Пеший, Носитель и Костя, — и седьмым стоял тот, кого он только что назвал.

И тогда вдалеке, за плато, за перевалом, в мёртвом море, что-то ответило — длинно, ровно, будто пересчитали и там, — и голос этот был не чужой.

Глава первая. Переправа

«Считать можно только то, что стоит на месте. Всё остальное — бежит.»
Из ротной книги, запись без номера

Свет пришёл с неба в двадцать три сорок, и в первые две-три секунды он не был похож ни на прожектор, ни на фару: ровный, белый, без тени, он опускался медленно, как опускается в воду масло, и казалось, будто это не свет, а что-то плотное и тёплое, что сейчас ляжет на плечи и останется там навсегда.

Абалим поднял голову. Над плато висела «птица» — маленькая, с четырьмя винтами, — и под ней на тросах шёл фонарь, а вокруг фонаря воздух дрожал так, как дрожит он над раскалённым железом.

— Ложись! — крикнул Шиш, и в его голосе была та быстрота, которая появляется у человека, когда он узнаёт опасность раньше, чем успевает её назвать.

Абалим не лёг. Он стоял и смотрел, как свет доходит до земли, и в этом свете становилось видно то, что до него было не видно.

Строй не кончался. Ряды уходили в темноту, и там, где свет доходил до них, было видно, что ряды не прямые: они гнулись, как гнётся под ветром трава, и в них были проходы, коридоры, перекрёстки. Двадцать четыре тысячи стояли не шеренгой, а улицами — ровными, плечом к плечу, — и между улицами оставались проходы в три шага, и в этих проходах тоже стояли.

— Это не строй, — сказал Шиш, и голос у него был тихий, будто он боялся, что его услышат не люди.

— Вижу.

— Это...

— Это лагерь, — сказал Абалим. — Они стоят так, что внутри можно ходить.

Свет погас. «Птица» ушла на запад, и стало темно, как было, и только в глазах ещё стояли белые пятна, мешавшие смотреть.

— Шиш.

— Что?

— Мы можем пройти внутрь?

Шиш помолчал, и в темноте было слышно, как он переступил с ноги на ногу.

— Зачем?

— Затем, что там люди. И их можно назвать.

— Двадцать четыре тысячи.

— Двадцать четыре тысячи.

Шиш долго молчал, и Абалим уже знал, что он скажет: Шиш всегда сначала считал, а потом соглашался, и это было одной из причин, по которой его стоило держать рядом.

— У нас сутки, — сказал Шиш. — И двести шестьдесят в роте, из которых половина не верит, что мы что-то можем.

— Знаю.

Шиш вздохнул так, будто снимал с плеч мешок.

— Тогда пойдём.

В проход они вошли на рассвете. Он был шириной в три шага и тянулся вперёд, теряясь между рядами; его не прокладывали, он просто был, как бывает в лесу тропа, протоптанная не человеком, а временем. Тот, кого Абалим вывел ночью, остался у края строя: идти ему было некуда, и Абалим велел ему стоять и ждать, и он стоял — уже не в ряду, но ещё и не вместе с ними, — и в его лице было то, что бывает у человека, которому дали место, но не дали дороги.

Абалим шёл первым, и слева и справа от него стояли люди — тёплые, с открытыми глазами, — и они не поворачивали голов. От них пахло шинельным сукном и чем-то ещё, слабым, как запах остывшего чая; когда Абалим проходил вплотную, ему казалось, что кто-то из них сейчас вздохнёт, и он ловил себя на том, что ждёт этого вздоха и в то же время боится его.

Один раз он не выдержал и посмотрел в лицо. Лицо было обыкновенное, мужское, давно не бритое, с седой щетиной у угла рта; глаза были открыты, и в них стоял ровный свет, а зрачки были не круглые, а узкие, как у кошки на солнце, и они медленно, без всякой причины, расширялись и сужались, будто человек этот смотрел не наружу, а внутрь себя.

— Не смотри, — сказал Шиш за спиной. — Они это чувствуют.

— Что чувствуют?

— Что их читают. — Шиш говорил тихо, ровно, как говорят вещи, которые проверили на себе. — Они тогда начинают думать, что их помнят. А им нельзя думать, что их помнят: они от этого шевелятся.

Через полчаса они вышли на перекрёсток. Это было место, где сходились четыре прохода; в центре стоял столб — серый, каменный, в два роста, — и на нём ничего не было написано: ни номера, ни буквы, ни метки, только выбоины, оставленные временем и чьими-то ногтями.

Абалим остановился и поднял руку.

— Стой.

Все встали.

— Асена.

Девушка вышла вперёд. Ей было семнадцать; она была худая, с коротко остриженными волосами и лицом, на котором не было ничего детского, и глаза у неё были устроены так, что смотреть в них долго было неприятно — не потому, что они были злые, а потому, что они были слишком внимательные.

— Что видишь?

Асена смотрела долго, и Абалим слышал, как она дышит — ровно, как человек, который считает.

— Теней нет, — сказала она.

— Совсем?

— Совсем. — Она помолчала. — Но здесь что-то есть.

— Что?

Асена показала на столб.

— Оно в нём.

Абалим подошёл. Камень был гладкий и холодный, и от него пахло железом — не так, как пахнет ветер на плато, а сильнее, гуще, будто рядом стояла батарея. Он положил на камень ладонь и почувствовал, как камень ответил: не толчком, не теплом, а тем едва заметным движением, с каким отвечает на прикосновение живая кожа, когда под ней что-то шевельнулось.

— Здесь кто-нибудь есть? — спросил Абалим.

Молчание было такое, что в нём стало слышно, как где-то далеко, за рядами, шуршит песок под ветром.

— Я знаю, что есть, — сказал он. — Выходи.

И столб ответил.

— Я не выхожу, — сказал голос. — Я стою.

Абалим отступил на шаг. Голос был ровный и спокойный, и он шёл не из столба и не от людей: он был вокруг, как свет, и внутри, как собственное дыхание.

— Кто ты?

— Я счёт, — сказал голос.

Абалим смотрел на столб, и столб был просто камнем, и в камне не было ничего, кроме трещин и времени.

— У счёта нет голоса.

— У твоего — есть. Ты сам его дал.

Абалим молчал, и в этом молчании он вдруг с ужасающей ясностью понял, что стоит не перед камнем, а перед тем, что этот камень означал все три года его жизни здесь.

— Три года назад, — сказал голос. — На переправе. Ты сказал: «их на небо пустят».

— Это сказал сержант.

— Это сказали вы все. И я услышал.

Абалим повернулся к своим.

— Отходим.

— Первый...

— Отходим! — крикнул он, и крик его ушёл в проход и вернулся оттуда глухим, будто из колодца.

И проход закрылся.

Не стена, не люди: просто ряды сдвинулись, как сдвигаются створки, и в трёх шагах за спиной уже стояли плечом к плечу, и стояли так плотно, что между ними не прошло бы и ладони. Абалим остановился и почувствовал, как у него холодеет затылок, — не от страха, а от той точности, с которой это было сделано: их не толкали, не хватали, их просто перестали считать проходом.

— Асена.

— Вижу.

— Что?

— Они идут, — сказала она. — Все. Со всех сторон.

Абалим поднял руку.

— Стоять! Никому не двигаться!

Они стояли в круге в шесть шагов, семь человек, и ряды сжимались медленно, ровно, как сжимается кольцо воды, когда в неё опускают палец. И вместе с этим сжатием шёл звук: тихий, множественный, будто по камню волокли мешки; и в этом звуке Абалим разобрал шорох сукна о сукно и ещё что-то — влажное, тягучее, как будто рядом переминались и не могли переступить.

— Что делать? — спросил Пеший, и голос у него сел.

Абалим смотрел на столб, и в голове у него было пусто и ясно одновременно, как бывает в те секунды, когда человек понимает, что от его следующего слова зависит не только его жизнь.

— Ты сказал, что ты счёт.

— Сказал.

— Тогда считай, — сказал Абалим. — Считай нас.

Молчание.

— Считаю.

— И что?

Голос помолчал, и в этой паузе сжатие остановилось.

— Не сходится.

Абалим поднял голову.

— Почему?

— Потому что вас семеро. А в книге — шесть.

Молчание стало таким, что в нём стало слышно, как далеко, за рядами, ветер пересыпает каменную крупу.

— Кто шестой?

И тогда Абалим понял. Он обернулся и посчитал: Шиш, Малх, Пеший, Носитель, Варвара, он сам. Шесть. А седьмой стоял в шаге позади, и у него было лицо Кости.

— Костя.

— Я.

— Тебя нет.

— Есть, — сказал Костя, и сказал спокойно, без вызова, как говорят о погоде. — Ты меня назвал. И я пришёл.

Абалим смотрел на него и видел то, что должен был увидеть раньше: лицо правильное, глаза правильные — и ни одного шрама.

— У тебя не было шрамов.

— Не было.

— У всех были.

— У меня не было, — сказал Костя и шагнул вперёд. — И это не потому, что я не человек. А потому, что я не воевал.

Ряды остановились. Абалим почувствовал это кожей: воздух перестал давить.

— Ты его остановил.

— Я его не останавливал. Он сам остановился.

— Почему?

Костя посмотрел на столб.

— Потому что он не знает, что с тобой делать.

Абалим обернулся к столбу.

— Это правда?

Молчание.

— Правда.

— Почему?

— Потому что у тебя нет строки. И я не могу тебя посчитать. А других могу.

Абалим посмотрел на своих, и в их лицах он увидел то, чего боялся больше сжатия: надежду. Надежда в людях, которых двадцать лет считали вещами, была страшнее любого оружия, потому что её нельзя было ни отменить, ни отложить.

— Значит, я могу вывести их?

Молчание.

— Можешь.

— Как?

Голос помолчал долго, и в этой долготе было что-то похожее на работу — будто кто-то перебирал варианты и не находил ни одного хорошего.

— Дай им имена, — сказал он. — Свои. Пока у них имена — их считают. А как только ты назовёшь их своими — они выйдут.

Абалим стоял и смотрел на камень, и камень молчал, и в этом молчании не было ни насмешки, ни подвоха, а было то, что бывает в приговоре, написанном слишком аккуратно.

— Тогда я назову.

Он повернулся к своим.

— Шиш. Как тебя зовут?

Шиш молчал.

— Шиш — это кличка. Как тебя зовут по-настоящему?

Шиш смотрел на него, и на лице у него было выражение человека, которого просят вспомнить дорогу, а он помнит только повороты.

— Не помню.

— А место?

Шиш помолчал.

— Помню поле. И реку.

Абалим кивнул.

— Хорошо. Тогда слушай.

Он взял его за плечо, и плечо было жёсткое, как доска.

— Ты стоишь у реки. Слева — поле. Справа — лес. И ты не один.

И Шиш сделал шаг.

Так он назвал шестерых. Он говорил каждому: где он стоял, что было слева, что справа, кого он помнил, — и каждый делал шаг, и после этого ряда расступались, и в расступах становилось видно, что за ними стоят ещё и ещё, и конца этому не было. Асена шла следом и запоминала, потому что запоминать она умела лучше, чем говорить; Малх держал за руку Варвару, и та шла, не оглядываясь, как ходят люди, которые всю жизнь таскали на себе чужое и привыкли не оборачиваться; Носитель, огромный и молчаливый, замыкал, и его шинель казалась в проходе стеной.

А когда остался последний, Абалим остановился.

— Костя.

— Я.

Абалим смотрел на него.

— Тебя я не могу назвать.

— Почему?

— Потому что тебя нет. И если я тебя назову, я дам тебе имя, которое не твоё. Тогда ты станешь тем, чем я тебя назову.

Костя молчал.

— И что тогда?

— Тогда ты станешь им.

Костя стоял и смотрел на него без страха; было в его лице что-то более взрослое, чем страх.

— Я и так уже тот.

— Кто?

— Тот, кем меня назвали, — сказал Костя. — Три года назад. И я не хочу быть им дальше.

Абалим молчал, и в этом молчании он впервые за всё время почувствовал, что перед ним не призрак и не подделка, а человек, которому больно так же, как было больно ему самому, — и, может быть, сильнее.

— Хорошо. Тогда я не буду тебя называть.

Он взял его за руку.

— Пойдём.

— Куда?

— Туда, где тебя можно поставить, — сказал Абалим и посмотрел на столб. — И где нас не посчитают.

Из строя они вышли к полудню. Проходы расступались медленно, по три-четыре шага, и каждый раз приходилось ждать, и в этом ожидании было больше страха, чем в самом сжатии: стоять и ждать, пока тебе соизволят дать дорогу, — к этому человека не готовят ни на какой войне. Шли молча; только один раз Носитель сказал в спину Абалиму: «Первый, они смотрят», — и Абалим ответил, не оборачиваясь: «Пусть смотрят».

А когда вышли на открытое плато, Шиш сел на землю.

— Всё, — сказал он. — Не могу.

Абалим сел рядом. Пеший, Носитель, Варвара и Малх легли на камни, и камень был тёплый, как всегда бывает после долгой ночи, а Костя стоял, и в его стоянии было что-то от того строя, из которого они только что вышли.

— Сколько мы там были? — спросил Пеший.

— С ночи.

— А прошли сколько?

Абалим посмотрел назад. Строй стоял в двухстах шагах — ровный, спокойный, — и в нём был виден проход.

— Двести шагов.

Молчание.

— Первый, — сказал Пеший. — Это двадцать четыре тысячи на двести шагов. Это...

— Я знаю.

Он лёг на спину и посмотрел в небо, где не было ни облака, ни солнца, только ровная серая муть, одинаковая во все стороны.

— У нас сутки, — сказал он. — И шесть человек, у которых теперь есть места. Это много.

— Что?

— Это много. За ночь — шесть.

Пеший сел.

— Ты хочешь за сутки вынуть двадцать четыре тысячи?

— Нет.

— А что?

Абалим поднял голову.

— Я хочу сломать счёт.

***

В лагерь они вернулись к вечеру, и их уже ждали. У ворот стояли трое: майор с узким лицом, сержант с прыщом на щеке и человек в штатском — молодой, худой, с длинными пальцами, с тростью в руке. Трость была не для ходьбы: он держал её легко, как держат вещь, которая нужна не ногам, а рукам.

— Тринадцать — ноль один?

— Я.

— Меня зовут Крисп. — Он не подал руки. — Я представляю ведомство, которое ведёт учёт.

— Ведомство? — сказал Абалим. — У вас есть ведомство?

— У нас есть служба. Это то же, только старше.

Он прошёл в штаб и сел, и сел так, как садятся люди, которым не впервые приходится объяснять очевидное людям, которые этого не поймут.

— Вы вывели шестерых.

— Вывели.

— Из двадцати четырёх тысяч.

— Из двадцати четырёх.

Крисп помолчал.

— Это не имеет значения.

— Для вас.

— Для счёта. — Крисп посмотрел на него, и в его глазах не было ни злобы, ни интереса, а была та ровная пустота, которая бывает у человека, привыкшего смотреть на людей как на строки. — Счёт не замечает шестерых. Счёт замечает, когда не сходится сумма.

Он положил на стол папку, и папка была тонкая, но тяжёлая на вид, как бывают тяжёлыми вещи, в которых мало бумаги и много последствий.

— И что там?

— Предписание. В связи с нарушениями срок сокращается.

Молчание, и в этом молчании стало слышно, как за перегородкой кто-то перестал писать.

— На сколько?

Крисп посмотрел на него.

— Срок был — семнадцатое октября. Теперь — завтра, двадцать один ноль-ноль.

Абалим сидел неподвижно, и в голове у него сначала не было ничего, а потом появилась одна мысль, простая и холодная: он всё ещё думал, что у него есть время.

— У нас сутки.

— Сутки.

— И вы мне это говорите...

— Чтобы вы не делали глупостей, — сказал Крисп и закрыл папку. — Вы уже сделали одну. Второй я не советую.

Он поднялся, опираясь на трость, и у двери обернулся, и в его лице было не торжество, а та усталая брезгливость, с какой человек сметает со стола сор.

— И ещё. Вы ходили в строй. — Он помолчал. — Там от вас осталось. Не в переносном смысле: там теперь стоит человек, у которого ваше лицо. Я видел его сегодня утром, когда шёл к вам. Он стоял в ряду, и он был в вашей шинели.

Абалим смотрел на него и чувствовал, как в горле становится сухо.

— Вы врёте.

— Я не вру, — сказал Крисп. — Я считаю. Врать — это другая работа.

Он вышел. Абалим остался стоять в штабе, и за перегородкой снова заскрипело перо.

Шиш нашёл его во дворе, когда темнело, — а темнело здесь не так, как в других местах: небо просто становилось плотнее и из серого делалось свинцовым, без заката и без теней.

— Сколько? — спросил Шиш.

— Сутки.

Шиш молчал.

— Тогда надо решать, — сказал он.

— Что решать?

— Уходить или нет.

Абалим посмотрел на него.

— Уходить?

— За плато, — сказал Шиш. — Через мёртвую воду.

Они сели на камни у стены, и Шиш стал рассказывать так, как рассказывают люди, которые долго держали это в себе и наконец получили право выговорить.

— За плато — мёртвая вода. Дальше — переправа, там мост. За мостом — уже не наши. Там город, Заречье. Там считают по-другому.

— Откуда знаешь?

— Слушал. Пять лет слушал.

Абалим смотрел в темноту.

— И кто за нами пойдёт? — спросил он. — Не застава. Застава — это бумага. Кто пойдёт по следу, если мы уйдём из строя?

Шиш долго молчал, и в том, как он молчал, было больше правды, чем в любом ответе.

— Серые, — сказал он наконец. — Те, что без тени. Их пришлют троих, может, пятерых, и они пойдут медленно, потому что им некуда спешить.

— А если мы оторвёмся?

— Тогда придут не они. — Шиш посмотрел в сторону переправы. — Придут стаи. Те, кто днём на двух ногах, а ночью на четырёх, и те, кто не выносит света и пьёт кровь, потому что другого топлива у него нет. Они служат не Управлению. Они служат тому, кто даёт им участок.

— И много их?

— Столько, сколько нужно, чтобы взять одного перебежчика, — сказал Шиш.

Абалим обернулся на него.

— Перебежчика?

Шиш не ответил. Он смотрел прямо перед собой, и на его лице не было ни страха, ни расчёта — только та ровная пустота, которая остаётся у человека, когда он давно решил то, о чём другие ещё не догадываются.

— Двести шестьдесят, — сказал Абалим. — Через мёртвую воду, ночью, под заставой. Это невозможно.

Шиш помолчал.

— Да, — сказал он. — Но если остаться — невозможно тем более.

Абалим встал.

— Собирай людей.

Их было двести шестьдесят. Они стояли в бараке плотно, плечом к плечу, и смотрели на него, и в этом взгляде двухсот шестидесяти было то, чего Абалим боялся больше стройного молчания: безразличие, в котором уже не осталось места ни надежде, ни страху.

И это была не рота в обычном смысле, а две породы, сшитые вместе. Ангелы стояли плотнее и держали спину ровно — не из гордости, а потому, что чехол с крыльями не давал согнуться; в темноте за их плечами угадывались горбы парусины, и у левой лопатки на каждом чехле висела свинцовая пломба с номером. Люди стояли рядом и выглядели обыкновенно: лица, руки, шинели, — и только по тому, как они молчали, было видно, что объяснять друг другу им нечего.

Здесь не было ни одного, кто попал сюда по ошибке. В искупительный строй брали за такое, за что из Сил Света изгоняют навсегда: за измену, за оставленный пост, за слово, сказанное врагу, за кровь, которую нельзя было не пролить. Изгнание было приговором, и его не оспаривали. Строй был выбором: вместо того чтобы уйти в темноту, эти попросили, чтобы их поставили туда, где нужнее всего, — и им разрешили, с тем холодным расчётом, с каким разрешают людям умирать за других. Крылья им за это не вернули и не отняли: их просто сложили и запечатали, чтобы ангел оставался ангелом, но не мог улететь.

Потому штрафную роту и ставили на самые тяжёлые участки. Её не берегли: бросали туда, где не хватало своих, где линия держалась на честном слове, где считали не потери, а сколько ещё продержится. Шёл шестой год войны, которую в сводках называли Армагеддоном, и все понимали, что скоро будет последняя ставка — та, после которой считать будет нечего и некому. Вслух об этом не говорили; но сроки сокращали, списки переписывали торопливо, и с севера каждый день приходили машины с толом.

Он поднялся на нары.

— Слушать. Завтра в двадцать один ноль-ноль нас выведут на плато и спишут. Это не смерть. Хуже. После этого вас не будет — ни для кого, ни для себя. И у нас есть одна ночь.

Молчание. Кто-то спросил из глубины:

— А что мы можем?

Абалим смотрел туда, в темноту, где не было видно лиц.

— Уйти.

— Куда?

— За плато. Через воду. К переправе.

— Это сорок вёрст, — сказал кто-то.

— Сорок.

— По мёртвой воде.

— По ней.

Тишина.

— И сколько дойдёт? — спросили из глубины.

Абалим помолчал.

— Не знаю. Может, половина.

— А остальные?

— Останутся здесь.

Молчание было долгим, и в нём слышно было, как на крыше стучит начинающийся дождь. Потом кто-то сказал:

— Я не пойду.

— Почему?

— Потому что мне некуда.

И второй сказал:

— И мне.

И третий.

Абалим стоял на нарах и смотрел на них, и в нём не было ни злобы, ни презрения — только то тяжёлое понимание, которое приходит, когда видишь, что человек выбирает не смерть, а привычное.

— Хорошо, — сказал он. — Кто не пойдёт — остаётся. Никто никого не судит. Но я прошу об одном.

— О чём?

— Если вы останетесь — назовите тех, кто уйдёт. Затем, что пока вас называют, вас не спишут. А вы назовите нас. И мы назовём вас.

В барак вошёл Крисп. Он стоял в дверях, и в руке у него была трость, и по тому, как он её держал, было видно, что он собирается сказать то, что говорит не часто.

— Это не поможет, — сказал он.

Абалим повернулся.

— Что вам нужно?

— Сказать вам одну вещь. А потом я уйду, и вы будете делать что хотите.

Он прошёл вперёд и остановился перед нарами, и в его лице было что-то, чего Абалим не ожидал увидеть у человека из ведомства: усталость, похожая на стыд.

— Счёт не держится на именах. Он держится на том, кто их произносит. Вы можете назвать друг друга. Это ничего не изменит. Потому что назовёт вас всё равно счёт.

— Тогда зачем вы здесь?

Крисп помолчал.

— Затем, что мне жаль.

Абалим смотрел на него.

— Жаль?

— Жаль, — сказал Крисп. — Я двадцать лет считаю. И мне впервые жаль.

Он повернулся к двери.

— У вас одна ночь. Я не буду мешать.

И вышел. Абалим спрыгнул с нар.

— Шиш. Ты веришь ему?

Шиш помолчал.

— Нет.

— И я нет. — Абалим посмотрел на дверь. — Но он сказал правду про одно.

— Про что?

— Про то, что назовёт нас счёт. Значит, надо, чтобы назвал кто-то другой.

***

Ночь началась с дождя. Он пришёл с мёртвой воды — тяжёлый, беззвучный, — и стучал по железным крышам ровно, как метроном, и от этого стука в голове само собой начинало считать.

Штрафные выходили из барака по одному. Их было сто семьдесят четыре. Восемьдесят шесть остались: они сидели на нарах и смотрели в стену, и никто из уходящих не сказал им ни

слова, потому что всякое слово было бы или упрёком, или прощанием, а ни того ни другого они не могли себе позволить.

Абалим стоял у ворот и считал.

— Сто семьдесят четыре.

— А остальные?

— Остались.

Шиш помолчал.

— Мы их бросили.

— Нет, — сказал Абалим. — Мы их оставили. Разница в том, что они сами выбрали.

И тут он увидел девочку.

Нина стояла у стены ворот, босая, в чужой шинели, подрезанной у подола, и держала под мышкой свёрток с углём и бумагой, как держат самое дорогое, что можно унести. Варвара Ильинична была рядом и держала её за плечо, и по лицу Варвары было видно, что она уже пробовала её отговорить и уже проиграла.

— Варвара.

— Не отдаёт, — сказала Варвара просто. — Я ей сказала: там вода. Она сказала: знаю.

Абалим присел перед девочкой.

— Тебя могут не пустить. Тебя могут посчитать лишней.

Нина посмотрела на него и ничего не сказала — только покачала головой, коротко и твёрдо, как качают головой, когда решение принято давно.

— Хорошо, — сказал он. — Только держись за Варвару. И если я скажу стоять — стоишь.

Она кивнула.

Потом достала из свёртка лист и показала ему: на листе были нарисованы ровные палочки, много палочек, а под ними — серая полоса, и в этой полосе — маленькие человечки, стоящие в ряд.

— Это вода? — спросил Абалим.

Она кивнула и показала пальцем вниз, на человечков в полосе.

— Там люди, — сказал он.

Она кивнула ещё раз и посмотрела на него так, как смотрят, когда хотят убедиться, что взрослый понял и не станет делать вид, что не понял.

Через ворота они вышли в два часа. Караул не помешал: сержант с прыщом на щеке стоял у стены и смотрел, как они проходят, и когда Абалим поравнялся с ним, сказал тихо:

— Первый. Не по мосту иди.

Абалим остановился.

— А как?

— В трёх верстах ниже — брод. — Сержант смотрел в сторону. — Там вода по грудь. И заставы нет.

— Почему ты мне это говоришь?

Сержант помолчал.

— Мне сорок два. Я здесь восьмой год. И я тоже стою в книге.

Они шли всю ночь. Дождь кончился к трём, и стало холодно — не по-осеннему, а как бывает в горах, когда воздух становится стеклянным и каждый вдох режет горло. Абалим шёл впереди и считал шаги: тысяча, две, три. Между тысячами он считал своих — сто семьдесят четыре в голове, сто семьдесят четыре в хвосте, и это совпадение держало его крепче любого приказа. К четырём в хвосте осталось сто семьдесят. Он не стал спрашивать, кто отстал.

Мёртвая вода началась к утру. Она лежала в котловине — плоская, серая, без блеска, — и от неё не шёл пар, хотя воздух над берегом был холодный.

Абалим остановился на берегу.

— Стой! Всем стоять!

Колонна встала, и в наступившей тишине стало слышно, как где-то далеко капает вода — ровно, по одной капле, с большими промежутками.

— Асена. Смотри.

Асена смотрела долго.

— Там нет теней, — сказала она. — Совсем. И под водой тоже.

Абалим присел и опустил руку в воду. Вода была тёплая — не тёплая даже, а как парное молоко, — и он вынул руку и посмотрел на неё. На ладони ничего не было: ни слизи, ни песка, ни запаха.

— Сколько до брода?

Шиш посмотрел по карте, которую держал в голове, потому что бумажной у него не было.

— Версты две.

— А до воды?

— Мы уже у воды.

Они пошли по берегу, и через полчаса Абалим увидел, что это не вода.

Это было стекло. Оно лежало в котловине — ровное, серое, — и там, где по нему шёл ветер, оно чуть светлело, как светлеет лёд перед закатом.

Абалим остановился и присел. Он коснулся поверхности. Стекло было тёплое и вязкое: палец вошёл на полсантиметра, и вмятину затянуло.

— Оно незастывшее, — сказал он.

— Что? — Шиш присел рядом.

— Оно не застыло.

Он вынул палец. На пальце осталась плёнка — тонкая, серая, — и она сползла, как сползает кожа после ожога.

— Первый, — сказал Пеший. — Ты видишь?

Абалим поднял голову. По стеклу шли трещины — тонкие, в волос, — они расползались от его ноги кругами, как от брошенного камня, и в этих кругах что-то было.

Абалим наклонился.

В толще стекла, под поверхностью, стояли люди. Много. Они стояли плечом к плечу, в шинелях, с винтовками у ноги, — и они были видны так, как видны вещи в мутной воде.

Абалим отступил, и от этого движения стекло под его подошвой тихо чмокнуло, как мокрая глина, и в глубине, у самой поверхности, чьё-то лицо повернулось к нему — медленно, без усилия, как поворачивается лицо спящего, когда рядом говорят.

— Шиш. Сколько их?

Шиш смотрел.

— Как в строю, — сказал он. — Сколько на плато — столько и здесь.

Абалим поднял глаза.

— То есть...

— То есть этот строй — не весь.

Они стояли на берегу незастывшего стекла, и под ними, в толще, стояли люди. Абалим сел на камень и почувствовал, как от камня идёт тепло, будто и он был частью этого места.

— Ладно, — сказал он. — Значит, так. Брод здесь.

— Какой брод? — спросил Пеший. — Тут стекло.

— Брод под стеклом. Там вода.

Молчание.

— Ты хочешь...

— Я хочу пройти, — сказал Абалим и встал. — Правила такие: идём по одному, дистанция десять шагов, не останавливаться. Если кто-то остановился — тянуть за руку назад. И не смотреть под ноги.

Первым пошёл он. Стекло приняло его ступню и не отпустило сразу: пришлось выдёргивать, и на подошве осталась плёнка. Он сделал второй шаг. Под ним, в толще, стоял человек и смотрел вверх.

Абалим смотрел вперёд. Третий шаг.

— Первый! — крикнул Шиш.

— Иду!

Он шёл, и стекло под ним проседало, и в проседании были видны люди: лица, руки, стволы. И чем глубже он шёл, тем больше их становилось.

К середине — а середины не было видно, просто перестал видеть берег — он остановился.

— Первый, не стой! — крикнул Шиш.

— Стой сам! — крикнул Абалим.

Он стоял и смотрел вниз. Под ним, в стекле, стоял человек, и у него было лицо. Абалим узнал его.

— Это я, — сказал он.

Человек под стеклом смотрел вверх. Абалим опустился на колени.

— Ты кто?

Молчание.

— Ты кто?

И человек ответил. Голос шёл не из-под стекла, а отовсюду, как всегда.

— Я тот, кто не вышел.

Абалим смотрел на него.

— Где ты стоял?

— Там же, где ты.

— Когда?

— Три года назад. На переправе. Когда тебя обменяли.

Абалим сидел на коленях на незастывшем стекле, и стекло под ним было тёплое, как живая кожа.

— Значит, я...

— Ты вышел. А я остался.

— Почему?

Человек помолчал.

— Потому что за меня некому было заплатить. А за тебя заплатили.

Абалим сидел и смотрел на себя.

— Кем заплатили?

— Не знаю. Меня не спрашивали. Меня просто поставили.

— Куда?

— Сюда. В стекло. Мы все здесь. Кто не вышел.

Абалим встал. Стекло под ним не проваливалось.

— Шиш! Иди сюда! Ко мне!

Шиш пришёл через минуту — осторожно, широко ставя ноги.

— Первый, что...

Он замолчал. Он смотрел вниз.

— Это...

— Это мы, — сказал Абалим. — Те, кто не вышел.

Шиш опустился на стекло и долго молчал.

— Первый, — сказал он наконец. — Я не помню своего имени.

— Знаю.

— Но я помню, что у меня был брат. И он здесь.

Абалим смотрел на него.

— Откуда знаешь?

— Потому что я вижу его, — сказал Шиш и показал вниз.

Абалим посмотрел. В толще, в двух шагах, стоял человек — молодой, светловолосый, — и он был похож на Шиша так, как бывают похожи братья.

— Как его звали?

Шиш молчал.

— Не помню.

Абалим сел рядом.

— Тогда назови место.

— Что?

— Место, где он стоял. Или где вы были вместе.

Шиш молчал долго.

— Река, — сказал он. — И поле. И дом под соломой. И там был сарай. Он любил там спать.

Абалим кивнул.

— Говори.

И Шиш говорил. Он говорил десять минут — про реку, про поле, про дом под соломой, про сарай и про то, как брат уходил туда спать, — и в стекле под ними человек поднимал голову. Потом он сделал шаг. И вышел.

Он вышел так, как выходят из воды: сначала голова, потом плечи, — и стекло расступилось и сомкнулось за ним. Он стоял на поверхности, мокрый, и с него стекало.

Шиш смотрел на него.

— Ты, — сказал он.

Брат молчал.

— Ты меня помнишь?

Молчание. Шиш опустил голову.

— Он не помнит.

Абалим положил ему руку на плечо.

— Он помнит место, — сказал он. — Ты его назвал. Дальше — дело времени.

Они перешли стекло к вечеру. Из ста семидесяти четырёх до берега дошли сто двадцать. Пятьдесят четыре остались в стекле. Абалим стоял на том берегу и смотрел, как они стоят.

— Мы их бросили, — сказал Пеший.

— Нет.

— А что это?

Абалим повернулся к нему.

— Это цена, — сказал он. — Мы её заплатили. В следующий раз заплатим меньше.

— Почему?

— Потому что теперь я знаю, как оно держит.

Брод был в двух верстах. Вода в нём была по грудь и такая же тёплая, и на дне лежали вещи: каски, котелки, винтовки, — и всё это было целое, будто положили вчера. Через брод перешли за час. На том берегу был лес.

Абалим вышел на берег и сел. Он был мокрый, у него тряслись руки, и во рту был вкус железа. Малх подошёл и сел рядом.

— Сколько? — показал он.

— Сто двадцать.

Малх помолчал.

— А было?

— Сто семьдесят четыре.

Малх посмотрел на него и показал: «пятьдесят четыре?»

— Пятьдесят четыре.

Малх опустил голову, и в этом опускании было больше горя, чем в любом плаче. Абалим посмотрел на лес.

— Слушай. Ты видел, что было в стекле?

Малх кивнул.

— Там были все, кто не вышел. За три года, за пять, за восемь. И там наши.

Малх смотрел на него.

— Мы за ними вернёмся, — сказал Абалим.

Малх показал: «как?»

— Пока не знаю. Но я знаю, что их можно вынуть. Потому что я видел, как это делается.

И тут он вспомнил про девочку, обернулся и стал искать её глазами. Нина сидела на камне у самой кромки воды, рядом с Варварой, и рисовала. Она рисовала быстро, уголь крошился, и на листе появлялось то, чего Абалим не мог видеть: под серой полосой — люди в ряд, а над ними — ещё люди, и между ними линия, тонкая, как нитка.

— Покажи, — сказал он.

Она показала и ткнула пальцем в одну фигурку в верхнем ряду, и Абалим не сразу понял, что это он. В лес они не пошли. Абалим поднял руку.

— Стой!

Все встали.

— Слушайте. Мы не знаем, что там.

Он повернулся к Шишу.

— Ты сказал: за мостом Заречье.

— Сказал.

— А что между мостом и лесом?

Шиш помолчал.

— Застава.

— А за заставой?

— Не знаю, — сказал Шиш. — Я там не был.

Абалим сел на камень и стал думать. Сто двадцать. Мокрые, без оружия, без еды, в чужом месте. Впереди — застава, за ней город, о котором они знают только то, что там «считают по-другому». А позади — стекло, в котором стоят пятьдесят четыре.

— Шиш. У нас есть оружие?

— Двенадцать винтовок. И один пулемёт без лент.

— Сколько еды?

— Нисколько.

— Воды?

— Вода есть, — сказал Шиш. — Вода везде.

Абалим встал.

— Тогда слушайте все. Мы не идём на заставу. Мы идём вокруг. Лесом, до города. Три дня, если не встретим никого. На четвёртый день мы должны быть там.

— Зачем? — спросили из строя.

Абалим посмотрел туда, где стояли люди, и увидел, что они стоят неровно, как стадо, — и что это уже не рота.

— Затем, что нас назовут. И если нас назовут в городе — нас не спишут на плато. Счёт не любит, когда его считают с двух сторон.

Они пошли лесом, и через час Абалим понял, что за ними идут. Он остановился и поднял руку.

— Стой! Слушайте.

Тишина. Лес был тихий: ни птиц, ни ветра, — и в этой тишине было слышно, как позади хрустнула ветка. Одна. Потом вторая, дальше.

Абалим обернулся.

— Шиш.

— Слышу.

— Сколько?

Шиш помолчал.

— Трое. Может, четверо.

И тогда из темноты между стволами, ровно и спокойно, будто называли номер на перекличке, кто-то сказал:

— Шиш.

Шиш не обернулся. Он стоял и смотрел перед собой, и лицо у него было такое, будто он узнал голос, которого не слышал двадцать лет.

— Шиш, — повторил голос. — Ты назвал меня братом.

И лес вокруг них сделал шаг.

Глава вторая. Печать и номер

«Печать не украшает бумагу. Она держит человека.»
Из книги имён, запись без даты

Заречье открылось на второй день, и открылось не сразу: сначала был холм, потом река, потом дым. Город лежал в низине, длинный, серый, с заводскими трубами в четыре стороны, и над ним стоял дым, оранжевый от заката, и этот цвет был единственным тёплым, что Абалим видел за шесть лет.

Он остановился и сел на камень. Сто двадцать стояли за ним и смотрели вниз, и в том, как они стояли — неровно, без равнения, с винтовками, взятыми кто как, — уже не было ничего от роты. Рота кончилась где-то там, в стекле, вместе с пятьюдесятью четырьмя; то, что вышло на берег, было не строем, а толпой, у которой ещё осталась привычка строиться.

— Это оно? — спросил Абалим.

— Оно, — сказал Шиш. — Заречье.

Абалим смотрел долго, и чем дольше смотрел, тем яснее становилось, что видит он не то, чего ждал. Он ждал город мёртвый, как всё, что лежало за рекой: серые дома, пустые окна, тишину. А внизу жили. Дым шёл из труб, у пристани стояли машины, в окнах горел свет, и по улице, вдоль реки, шли двое — просто шли, не оглядываясь, и один из них, судя по движению руки, рассказывал другому что-то смешное.

— Почему оно живое?

— Что? — переспросил Шиш, и в голосе его была та осторожность, с которой человек переспрашивает, когда не уверен, что расслышал.

— Оно живое. Смотри: дым, машины, свет в окнах. У нас не так.

Шиш присел рядом и долго молчал, глядя вниз.

— Я слышал, что здесь считают по книге, — сказал он наконец. — Но книга не одна.

— Что значит — не одна?

— У каждого двора своя. И если тебя нет в книге двора — ты... — Он подобрал слово, как подбирают с земли нужный камень. — Ты никто.

Абалим поднялся и отряхнул колени.

— Хорошо. Тогда так: в город идём по двое, интервал сто шагов, оружие не показывать. И ещё — никому не называйтесь.

— Почему?

— Потому что сначала надо понять, как здесь считают.

Он вошёл в город пешком, вдвоём с Малхом, налегке. Ворота никто не охранял. Это была проездная арка, выложенная силикатным кирпичом, и в ней не было ни поста, ни будки — только старый шлагбаум, поднятый и привязанный проволокой к столбу, да на столбе же — жестяная табличка с выцветшей надписью «Заречье, дворов — 41».

Абалим постоял, слушая. Город шумел ровно и буднично: где-то гремело ведро, где-то переговаривались женщины, за стеной играло радио, и во всём этом не было ни тревоги, ни настороженности, будто война осталась за рекой и не имела к Заречью никакого отношения.

— Смотри, — сказал он.

Малх посмотрел и показал: «нет караула».

— Вот именно.

Они прошли по улице. Дома были жилые: на подоконниках стояли цветы в обрезанных бутылках, на верёвках висело бельё, из подъездов пахло борщом и мокрым бетоном. И при этом на каждой двери была бумага.

Абалим остановился у первой. Небольшой лист, приклеенный клеем, с оттиском круглой печати, и в оттиске — столбцы, написанные от руки, ровным писарским почерком: «Двор 14.

1. Антонов И. П. — 1987 — есть. 2. Антонова М. С. — 1989 — есть. 3. Антонов С. И. — 2014 — есть. 4. … — пусто».

Абалим смотрел на четвёртую строку. Номер стоял, а имя не было вписано: вместо него — пустое место, и бумага в этом месте была чуть темнее, будто имя стёрли и с тех пор туда часто попадала пыль.

— Понял? — спросил он.

Малх смотрел на лист, потом показал: «кто-то есть?»

— Кто-то есть. Но его не вписали. И он здесь четвёртый.

Они прошли ещё сто метров. На углу стоял стол — высокий, крашеный, с ящиком, — и за столом сидел человек в очках. Перед ним стояла очередь, и в очереди никто не разговаривал: стояли молча, как стоят у врача, где всякий разговор кажется неуместным. Абалим встал в хвост и стал смотреть.

Очередь шла медленно: человек в очках спрашивал имя, смотрел в книгу, ставил оттиск в бумагу — и отпускал, и на каждого у него уходило около минуты.

Когда до Абалима осталось двое, он увидел, как всё происходит.

Женщина сказала:

— Антонова Мария Сергеевна.

Человек в очках нашёл её в книге, провёл пальцем по строке, кивнул и взял печать. Печать была тяжёлая, медная, с деревянной ручкой, отполированной ладонью до блеска. Он подышал на неё, приложил к бумаге, и Абалиму показалось, что в воздухе стало плотнее — ровно на одно слово, как будто в комнате стало на одного человека больше. Это длилось мгновение, не больше; но он стоял в трёх шагах и видел, как у женщины на секунду подломились колени, а потом выпрямились, и как она вышла из очереди, и как шла — чуть тяжелее, чем стояла.

— Следующий.

Абалим шагнул и назвался.

Человек в очках поднял глаза от листа и посмотрел на него с тем выражением, с каким смотрят на человека, назвавшегося чужим именем.

— Как?

— Абалим.

— Фамилия?

— Нет.

— Двор?

— Нет.

Человек в очках отложил печать, и в его движениях появилась та осторожность, с которой люди кладут на место вещь, которая может понадобиться им для защиты.

— Тогда я не могу вас вписать, — сказал он. — В книге нет двора, в который вас можно вписать. И нет строки, в которую можно вписать имя. — Он помолчал. — И, честно говоря, я не уверен, что у вас есть имя.

— Есть, — сказал Абалим. — Я его только что назвал.

— Вы назвали слово. — Человек в очках смотрел на него без злобы и без страха, с той усталой покорностью, которую Абалим видел в роте у людей, которые давно перестали выбирать. — Слово можно назвать. Имя — нельзя. Имя вписывают.

Он взял печать и показал ею, как показывают инструментом, а не оружием:

— Пока человек здесь, он есть. Пока он в книге — он считается. Кто не в книге — того нет, и он об этом узнаёт не сразу. — Он опустил печать. — Идите. Не задерживайте очередь.

Абалим отошёл в сторону, и очередь за его спиной не сказала ни слова, только сдвинулась плотнее, будто он оставил после себя пустое место, которое надо было немедленно занять.

— Спасибо, — сказал он.

Человек в очках не поднял головы.

Абалим обернулся. В тридцати шагах стоял человек — немолодой, в плаще, с папкой под рукой, — и он не прятался: стоял открыто, как стоит человек, которому нечего скрывать и некуда спешить.

Человек подошёл. У него было худое лицо, давно не бритое, и глаза человека, привыкшего читать при плохом свете.

— Гурьев, — сказал он. — Я вас слушал. Вы назвались, и вас не вписали. Это здесь редкость.

— Почему?

— Потому что люди боятся. — Гурьев посмотрел туда, где стояла очередь. — Они боятся, что их вычеркнут. А вы не боитесь, и это значит, что вам нечего терять. Люди с пустой строкой приходят ко мне сами. Обычно — через неделю. Вы пришли через минуту.

Он привёл их в контору — полуподвал, стол, шкаф с папками, лампа на кронштейне, — и запер дверь на крючок. Пахло здесь бумажной пылью, клеем и остывшим чаем.

Абалим сел. Гурьев опустился на стул напротив и поставил папку на колени, как ставят вещь, которую не собираются открывать.

— Сколько их у вас? — спросил Абалим.

— Кого?

— Пустых строк.

Гурьев долго молчал, и в этой паузе было слышно, как за стеной, в соседнем полуподвале, кто-то перекладывает ящики.

— Триста сорок одна, — сказал он наконец. — Я восемь лет веду эту книгу. И восемь лет вижу, как в ней появляются пустые строки. Сначала одна в месяц. Потом одна в неделю. Теперь — три за ночь. — Он положил ладонь на папку. — И я знаю, что происходит с теми, кто в пустой строке. Они не умирают. Они уходят за реку и становятся тем, что стоит в строю.

Абалим смотрел на него и чувствовал, как в нём поднимается то холодное собранное внимание, с которым он когда-то считал шаги до строя.

— Вы знаете про строй?

— Я знаю, что за рекой что-то есть. Все знают. — Гурьев помолчал. — Но я думал, что это кладбище. А вы говорите — строй.

— Двадцать четыре тысячи, — сказал Абалим. — Они стоят и не двигаются. У них нет имён, нет мест, нет строк. Их спишут завтра в двадцать один ноль-ноль.

Гурьев молчал долго, и в лице у него что-то менялось — медленно, как меняется вода, когда под ней начинает бить ключ.

— Вы пришли ко мне, потому что услышали про книгу, — сказал он. — И вы думаете, что я могу их вписать. Не можете вы — может книга. Так?

— Так.

— Это не так работает. — Гурьев открыл папку и достал книгу. Это была большая тетрадь в коленкоре, в полторы ладони толщиной, и она была исписана вся, до последнего угла, и на сгибах бумага уже начала лохматиться. — Я восемь лет вписываю людей в книгу. И все восемь лет знаю, что книга важнее человека. Потому что человек умирает, а строка остаётся. А теперь я хочу проверить, что будет, если наоборот.

— Что наоборот?

— Если человека впишут не в книгу, а в память. — Гурьев закрыл книгу. — Здесь три счёта, и они не сходятся. У вас, за рекой, считают строкой. В городе считают двором. У ведомства — печать. Это три разных счёта, и пока они не сойдутся, ни один из них не закроется.

— И что тогда?

— Тогда, — сказал Гурьев, — книга не закроется никогда.

***

В переулок они вышли в полночь. Он лежал между двумя длинными сараями, где пахло мазутом и мокрой корой, и в конце его стояли люди.

Абалим шёл и считал: триста сорок один. Они стояли так же, как те, за рекой: плечом к плечу, ровно, без всякого строя, и не двигались. На них были рабочие куртки, плащи, домашние халаты, и у каждого были открыты глаза.

Абалим подошёл к крайнему. Это был мужчина лет сорока, в рабочей куртке, с чистыми руками, и руки у него были сложены так, как складывают их люди, привыкшие ждать. Глаза открыты, зрачки узкие, как у кошки на солнце, и они медленно расширялись и сужались, будто человек смотрел не наружу, а внутрь.

— Антон, — сказал Гурьев из-за спины. — Это Антонов. Из четырнадцатого двора. Его строка пустая с апреля.

Абалим подошёл и встал рядом, и вблизи увидел, что лицо у человека не пустое, а именно забытое, как забытая комната, в которой всё осталось на местах, но никто не помнит, чья она.

— Я Абалим. Меня зовут Первым. — Он говорил ровно, как говорят с человеком, которого нельзя напугать, потому что пугать уже нечем. — Вы жили в четырнадцатом дворе. У вас была жена Мария Сергеевна и сын Сергей. Вы работали на трубе, во втором цехе. И вы вставали в пять, потому что боялись опоздать.

Человек смотрел на него и молчал, и молчание это было не пустым, а полным, как молчание человека, который слышит вопрос, но не помнит, что на него отвечают.

— Вы вставали в пять, — повторил Абалим. — И пили чай стоя, потому что не любили сидеть. И у вас была привычка: перед выходом проверять, выключен ли свет. Вы её не любили, но не могли иначе.

И тогда человек моргнул. Это было первое движение за всё время, и от него лицо стало другим: в нём появилось что-то, чего не бывает у вещей.

— Свет, — сказал он. — Я не выключил свет.

Он сел. Он сел прямо на землю, как садятся люди, у которых отказали ноги, — и заплакал, и плакал беззвучно, только плечи ходили, и это было хуже всякого воя.

К утру они вписали двадцать шесть. Абалим вышел из переулка на рассвете. Город просыпался: гремели вёдра, где-то завели машину, и над трубами стоял пар, и пар этот был розовый в первых лучах.

Он сел на крыльцо и стал считать. Двадцать шесть за ночь. Триста сорок один осталось. Сутки — если считать сутками то, что ему сказали. Он посчитал ещё раз, потому что число не сходилось с ужасом: двадцать шесть было слишком много для одной ночи и слишком мало для города, в котором каждую ночь прибавлялось по три пустые строки.

— Так не пойдёт, — сказал он.

Шиш сел рядом.

— Пойдёт, — сказал он. — Только медленно.

— У нас нет медленно.

— Тогда надо считать не по одному. — Шиш смотрел на улицу, где уже открывали ставни. — У нас за рекой была рота. Здесь — дворы. А двор — это десять-двадцать человек, которые знают друг друга в лицо и по имени. В книге у них одна страница, и на странице — все. Назови двор, и он вернётся двором.

— Двор не назовёшь, — сказал Абалим. — Двор — это люди.

— Вот и назови их двором. — Шиш повернулся к нему. — Строй их не держит, потому что у них нет общего места. Дай им общее место — они вспомнят друг друга. И тогда их можно будет считать не по одному, а по десять.

Он вернулся в контору к вечеру и сел над картой. Гурьев сидел напротив и чинил перо, и это занятие, судя по всему, было у него способом думать.

— Двор — это десять-двадцать человек, — сказал Абалим. — Они знают друг друга в лицо и по имени. В книге у них одна страница, и на странице — все.

— Тогда всё сходится, — сказал Гурьев. — Строй, двадцать четыре тысячи, — их нельзя назвать по одному. Но их можно разбить на дворы.

— Сколько дворов выйдет из трёхсот сорока одного?

— Тридцать четыре. — Гурьев даже не посчитал, он это знал. — Если по десять. И один останется неполным.

Он вышел в переулок к ночи. Триста сорок один стояли на месте, и было слышно, как в темноте кто-то из них дышит — тяжело, с присвистом, — и от этого дыхания переулок казался живым, как барак.

Он шёл и считал, и за ним шли Шиш и Малх, и они отводили людей в стороны, и это было тяжелее, чем идти по стеклу: люди не сопротивлялись, но и не помогали, и приходилось переставлять их, как переставляют мебель.

К утру в переулке стояло тридцать четыре двора, и в последнем было одиннадцать человек. Абалим сел и посмотрел: тридцать четыре кучи по десять, — и каждая стояла отдельно, и между ними оставалось по два шага пустого места.

— А теперь, — сказал он, — назовите друг друга.

Он начал с крайнего двора. Он стоял перед ними и говорил то, что говорил всегда: где они стояли, что было слева, что справа, кого они помнили, — и в какой-то момент человек в рабочей куртке повернул голову. Потом второй. Потом третий. И через минуту все десять стояли в кругу и смотрели друг на друга, и один из них сказал:

— Ты?..

— Я, — сказал второй, и сказал это так, будто не верил сам себе. — Ты же с третьего подъезда.

— С третьего.

— А я думал, ты уехал.

— Не уехал.

Абалим отвернулся. Он стоял и смотрел в стену переулка, и у него дрожали руки, и он не сразу понял, что это оттого, что он слишком крепко держался за ящик.

Абалим сидел на ящике и смотрел на то, как люди, которые двадцать минут назад стояли плечом к плечу и молчали, теперь спорят, кто жил на какой улице, — и как один из них смеётся, коротко и хрипло, будто вспомнил что-то, чего не должно было помнить.

***

Крисп пришёл в контору утром, и с ним пришли двое, и оба остались у двери, и по тому, как они стояли, было видно, что они умеют стоять.

— Вы ушли раньше, чем я успел закончить, — сказал Крисп. — У вас были сутки. Вы опоздали на целые сутки — и, как видите, ничего не произошло.

— Почему?

— Потому что счёт не может закрыться без того, кто вышел. — Крисп сказал это ровно, как человек, читающий вслух документ. — Вы — единица, которая не сходится. Пока вы не сойдётесь, книгу не закроют. И пока её не закроют, никто не умрёт и никто не исчезнет. Вы держите их всех — просто тем, что вас нет в строке.

Абалим смотрел на него и думал о том, что этот человек только что сказал ему самое страшное, что можно сказать командиру: твои люди живы не потому, что ты их вывел, а потому, что ты сам не сдался.

— И что вы предлагаете?

Крисп помолчал.

— Ничего. Я пришёл посмотреть. — Он обвёл контору глазами, и взгляд его остановился на книге Гурьева. — Я двадцать лет считаю. И я впервые вижу человека, который считает в другую сторону.

— Зачем вам это?

— Затем, что мне жаль. — Крисп поднялся, опираясь на трость. — И потому что я знаю, чем это кончится. У вас сутки. — Он поднял палец. — Не потому, что я так хочу. Потому что так считает книга. Завтра, двадцать один ноль-ноль.

— А если мы не успеем?

— Не знаю, — сказал Крисп. — Но я знаю, что тогда не будет никого, кто мог бы открыть книгу снова.

Он ушёл, и в конторе долго пахло после него — не табаком и не одеколоном, а чем-то сухим, бумажным, как в архиве, где давно не открывали окон.

Абалим вышел на улицу. Шиш ждал его у конторы, и вид у него был такой, будто он всю ночь считал и не досчитал.

— В три часа, — сказал Абалим. — Малх, ты, полтора десятка гранат и полуторка. Гурьев даст машину.

— Куда?

— На север. К заставе.

— Зачем?

Абалим достал из-за пазухи лист — то самое предписание, с пустой подписью, которое он носил с собой с самого плато.

— Затем, что кто-то должен подписать, — сказал он. — И я хочу знать, кто.

Машину вывел из гаража сам Гурьев, потому что шофёр отказался: он стоял у ворот и смотрел, как они грузятся, и лицо у него было такое, будто он прощается не с ними, а с собой.

Варвара вышла проводить их до ворот, и с ней была Нина. Девочка держала под мышкой свёрток и смотрела на машину без всякого любопытства, как смотрят на вещь, назначение которой уже понятно.

— Что она говорит? — спросил Абалим.

— Ничего не говорит, — сказала Варвара. — Она рисует.

Нина достала лист и показала ему. На листе была дорога, и поперёк дороги — чёрточка, и над чёрточкой — маленький круг с точкой.

— Это застава? — спросил он.

Она кивнула.

— А это кто? — Он показал на круг.

Она не ответила. Она прижалась к Варваре и больше не поднимала глаз, и Абалим уехал с этим кругом в голове, и круг этот был похож на печать.

Они ехали всю ночь. Дорога шла лесом, и в свете фар было видно, как на обочинах стоят люди: они стояли и смотрели на машину, и не было понятно, живые это или те, кого не вписали, — и Абалим отвернулся и стал смотреть на лес, потому что смотреть на обочину было нельзя: от этого начинало казаться, что весь мир стоит и ждёт, когда его посчитают.

Он сидел в кузове и держал пулемёт, и пулемёт был без лент, и от этого в руках было неприятное чувство, будто держишь тяжесть, которая ничем не поможет.

Машина встала. Абалим спрыгнул. Их было человек двадцать: в шинелях без знаков, с винтовками, и стояли они не толпой, а с расстановкой, как ставят людей, которые знают, зачем стоят.

Человек подошёл ближе, и в свете фар было видно, что он немолод и что у него на щеке старый шрам, тянущий уголок рта.

— Стоять, — сказал он. — Документ.

Абалим достал предписание. То самое, с пустой подписью. Человек взял его, посветил фонарём — и долго молчал, и в этом молчании было слышно, как в лесу капает с веток.

— Здесь ничего нет, — сказал он наконец.

— Как — ничего?

— Подписи нет. — Человек перевернул лист и посветил с другой стороны, будто надеялся увидеть оттиск на просвет. — И срока нет. И печати нет. Это не документ. Это бумага.

Абалим смотрел на лист и видел то же, что и он: на месте подписи не было ничего — ни «Н. Б.», ни букв, ни оттиска. Только белое поле, ровное, как будто там никогда ничего не печатали.

И тогда шрам на щеке человека дёрнулся, и он поднял голову и посмотрел не на лист, а на Абалима.

— А вас я знаю, — сказал он. — Вас вписали.

— Куда?

— В книгу. — Человек достал из кармана сложенный вчетверо лист и развернул его. На листе был оттиск — круглый, свежий, и в оттиске стояло: «Тринадцать — ноль один. Двор — нет. Строка — есть».

Абалим смотрел на оттиск и чувствовал, как в горле становится сухо.

— Когда? — спросил он.

— Сегодня, в двадцать один ноль-ноль, — сказал человек. — Только что. — Он поднёс лист ближе, и чернила на оттиске блестели. — И знаете, что странно? Здесь написано, что вы живой.

Глава третья. Пыль Мегиддо

«Место не выбирают. Место назначают — и потом уже нельзя уйти.»
Из книги мест, первая страница

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.